

В МАЙСКОМ номере "Нового мира" напечатаны двадцать четыре стихотворения Иосифа Бродского. Завершается цикл традиционных для поэта стихотворений — рождественским, помеченным "25.XII.1993". Для сравнения: "Близнец в тучах" Пастернака включал в себя двадцать одно, а первоиздание мандельштамовского "Камня" — двадцать три стихотворения; так что этот цикл Бродского вполне уместно воспринять и как книгу. Собранный под общим заголовком "Воздух с моря" публикация включает и новые стихи, и две вещи, помеченные годом 1970-м. Не так давно появился и новый текст прозы Бродского — его предисловие к "Избранному" Евгения Рейна, выпущенному в серии "Библиотека новой русской поэзии" издательством "Третья волна".

В эссе "Об одном стихотворении", посвященном цветаевскому "Новогоднему", Бродский заметил, что в любом стихотворении "На смерть..." есть элемент автопортрета. "Элемент этот тем более неизбежен, — пишет Бродский, — если оплакиваемым предметом является собрат по перу, с которым автора связывали чересчур прочные — подлинные или воображаемые — узы, чтобы автор был в состоянии избежать искушения отождествить себя с предметом стихотворения". Сметю предположить, что в случае с предисловием действует тот же самый механизм, провоцирующий своеобразную автопортретность: "мы узнаем больше об авторе... нежели о том, что действительно произошло с другим лицом". Бродский тем более "отражаем" в предисловии к стихам Рейна, что не раз подчеркивал свое с ним единство, чуть ли не преувеличивая дозу рейновского "учительства".

Итак, что же прежде всего акцентирует Бродский в поэтике Рейна? "Избыточную вещь, перенасыщенность существительными", а также метафизичность отношения к "сору", из которого, как известно, растут стихи: инстинктивное ощущение, что "отношения между вещами этого мира суть эхо или подстрочный — подножный — перевод зависимостей, существующих в мире бесконечности". Все вышесказанное можно целиком и полностью отнести и к самому автору предисловия, а также автору "Большой элегии Джону Донну" с ее щегольски длинными рядами отнюдь не монотонных перечислений вещей, утвари, поднимающимися все выше и выше, переходя к тому, что может быть названо уже не вещью, а вестью (хотя в словаре Бродского этому слову, как слишком высокому, места не находится, он заменяет его — в статье о Платонове! — английским "месседж"), рядами, перебиваемыми лишь изредка подтверждением того, что все перечисленное уснуло; к автору "Пятой годовщины", "Жизни в рассеянном свете" и т.д., и т.п.

Но вернемся к новомирскому циклу Бродского — его "избыточная вещь" наглядна; если составить частотный словарь подборки, то слово "вещь" займет лидирующую позицию, не говоря уж о том, что "печь", "карандаш", "кровать", "веранда", "деревья" или "самовар" здесь не требуют определений. Скорее существительное уточняется существительным ("воздух почти скандал"), выступающим в роли эпитета. Что же касается определений, то они носят служебно-уточняющий и тоже вещный характер: "Голландия есть плоская страна", камень — "прибрежный", нитка — "длинная", свитер — "красный", блузка — "крахмальная", шиньон — "тяжелый", трубка — "погасшая", листья — "жесткие" (подчеркнуто здесь и далее мною. — Н.И.) — реальность дана в ощущениях, а не в сравнениях. Сравнения же идут опять-таки через существительное-вещественный ряд: "Деревья со всех сторон / лижут к распахнутым окнам судьбы, как дивки к парню" ("Посвящается Чехову"), или — "нетрудно принять "боинг" за мотылька" ("Новая Англия"); а если вдруг и появится эпитет-сравнение, то опять отмеченный явным происхождением из вещного ряда — "Она надевает чулки, и наступает осень; / сплошной капровый дождь вокруг". Взаимозависимость меняется, привычная причинно-следственная связь перестраивается: не чулки надеваются из-за того, что наступает осень, а наоборот; не оспины появляются на асфальте из-за острых каблучков, а "юбка длиннее и острее каблук" — из-за оспин. "Чем" и "тем" парадоксально меняются местами.

"Воздух с моря" перенасыщен не только вещами, но и цветами, травой, деревьями, насекомыми, рыбами, птицами, флора и фауна его разнообразны и чуть ли не сказочны (непойманые рыбы разговаривают по-голландски, цветы, разом похожие на лица и звезды, хватают за душу, древесный лист, пылая по ночам, включает гнездо, насекомое мелет языком, ворона мечтает о браке, а птичку на черной ветке привлекает вечность); в финальной строке "Надписи на книге" вдруг возникает зеленая трава, что для внимательного читателя Бродского уже сигнал: "все кончено" — еще и потому, что, как сказано в "Меньше единицы", "завтра менее привлекательно, чем вчера", а "будущее, ввиду его обилия, пропаганды. Также и трава".

Предельно насыщенный ("вещь заморская", "вещь фирменная", "как сделаны

эти вещи", опять "вещи", "вон! с вещами!" — жалюзи, подушка, филенка, плинтус, шиниель, кулиса, папка с бантиком тессемок, стекло, бюстики Бетховена и Чайковского, свитер, духи, тряпки от Диора, — перечисление вещного мира подборки займет не один абзац) мир более чем вещен. Вещь в поэтике Бродского становится вестью — об осени ли, о погружении Атлантиды, о времени и о пространстве, о судьбе. Эта предельная и в то же время метафизическая вещьность вдруг срывает чуть ли не шуточную "Песню о красном свитере" с пушкинским "Пророком":

Но если вдруг начнет хромать
кириллица
от сильного избытка вещи фирменной,
прикинь, серафим, к устам
и вырви мой,
чтобы в широтах, грубой складкой
схожих с робой,
в которых Азию легко смешать
с Европой,
он трепыхался, поджидая
бурсманина,
как флаг, оставшийся на льдине
без Папанина.

"Язык", над которым производил операцию шестикрылый серафим, здесь Бродским не называется — но вслед за Пушкиным материализуется, только усиливаясь в вещьности, воплощаясь, уподобляясь красному флагу. Сохранение русского языка, "кириллицы" — вот чем клянется Бродский, иначе — "вырви мой".

Наталья ИВАНОВА

Вещь и весть

Иосиф Бродский:
новые стихи и размышления в прозе

"МНОГИЕ вещи определяют сознание помимо бытия (перспектива небытия, в частности), — заметил Бродский в эссе "Поэт и проза". — Одна из таких вещей — язык". И вот эта "вещь" становится более чем "вещной"; "вещь" и "весть" — слова не однокорневые, связанные в фонетике языка тоже метафизически: речь идет об акцентированной Бродским в статье о Платонове "синтетической (точнее: не-аналитической) сущности русского языка, обусловившей — зачастую за счет чисто фонетических аллюзий — возникновение понятий".

Бродский и в стихах руководствуется сформулированным им самим законом синтаксиса — главное падает на распространенное придаточное предложение, начинающееся с "Но". Параллель из эссеистики Бродского: в первом предложении "Нобелевской лекции" главная мысль заключена тоже в придаточном предложении: "Для человека частного и частности эту всю жизнь какой-либо общественной роли предпочитавшего, для человека, зашедшего в предпочтении этом довольно далеко — и в частности от родины, ибо лучше быть последним неудачником в демократии, чем мучеником или властителем дум в деспотии, — оказаться внезапно на этой трибуне — большая неловкость и испытание". "Пророк" падает на 22-ю строку 28-строчного стихотворения, занимая ровно одну седьмую от общего объема стихотворения, связанного с Пушкиным не только через "пророка", но и — самоиронично, дабы избежать столь отвратительного для Бродского пафоса — через "Памятник" ("Я вижу гордые строения с ванными, / заполненными до краев славянами", — и девки шуряют там", "И Файбишенко там горит звездой, и Рокотов", — "и там пылюсь на каждой полке в каждом доме я. / Вот, думаю, во что все это выльется" — предсказание "будущего" из 1970 года сбилось с лихвою); а переход к "пророку" осуществлен через знаменитое пушкинское "но если...".

Открывается цикл "Воздух с моря" стихотворением "Голландия есть плоская страна...", немедленно вызывающим в памяти несбывшееся "пророчество" 1965 года ("Мы будем жить с тобой на берегу, / отгородившись высоченной дамбой...") — "В Голландии своей, наоборот, / мы разведем с тобою огород"; только нынче утрачен адрес "ты". Впрочем, этот адрес, как заме-

тил Бродский, это "ты", в том числе и читательское "ты", имеет тенденцию к постоянному сужению — пока поэт не останется наедине с собой, первым и единственным читателем-слушателем. У Бродского, сказавшего: "Биография писателя — в покое его языка" (эссе "Меньше единицы"), утрата местоимения второго лица единственного числа более чем существенный факт.

"Голландия..." с ее "волнами", катящимися вдаль "без адреса. Как эти строки", вызывает немедленно в памяти еще одно: конечно же, кроме "На берегу пустынных волн", и пастернаковские "волны". И ведь именно "Волны", как и "Голландия...", открывают путь воспоминаниям: "Здесь будет все: пережитое..." Только у Пастернака движение волн — и памяти — линейно и оставляет четкие следы, "прибой, как вафли, их печет", — а у Бродского волны — "качущиеся" не столько "вдаль", сколько круговоротом. Голландия переходит "в конечном счете в море, которое и есть в конечном счете Голландия". У Бродского при его-то отвращении к "тиражности" назойливый повтор насыщен умислом. Это — очень русское поэтическое "хождение вокруг да около, приближение к теме под разными углами" ("Сын цивилизации", перевод с английского Дм. Чекалова). Тавтология и монотонность возвращают посланную волну опять к суше, само слово "Голландия" кружит стихотворение пятью оборотами: обозначенная "смесь гравюры с кружевом", именно с кружевом, не только

ет. "Ястребиная острота", придающая стихам "сходство с живописью", это ведь тоже не столько о Рейне, сколько о самом себе сказано:

Закат, покидая веранду,
задерживается на самоваре,
Но чай остыл или выпит;
в блюдце с вареньем — муха.
И тяжелый шиньон очень к лицу
Варваре
Андреевне, в профиль —
особенно. Крахмальная блузка глухо
застегнута у подбородка. В кресле,
с погасшей трубкой,
Вяльцев шуршит газетой
с речью Недоброво.
У Варвары Андреевны
под шелестящей юбкой
ш-че-го.

"Посвящается Чехову" вмещает в себя "повествование о более чем трех действующих лицах", каковое, по Бродскому же ("Поэт и проза"), "сопротивляется почти всякой поэтической форме за исключением эпоса". Но перенасыщенная вещьность и избыточная персонажность этого стихотворения конденсируются совершенно неожиданным итогом: ни что иное как "космос" является последним словом (провинция уподобляется космосу). При том, что "космос" для Бродского — отнюдь не слово из ряда, а слово-подключение к александрийской, греческой традиции: "Принцип космоса", по Бродскому, — это традиция порядка, пропорциональности, тавтологии причины и следствия (Эдиповский цикл), традиция симметрии и замкнутого круга, пишет он в "Путешествии в Стамбул".

ЕСТЬ космос — и космос; космос комнаты, набитой вещами, например ("Не выходи из комнаты, не совершай ошибку... Дай волю мебели, слейся лицом с обоями") — и "космос" из ряда "хроноса, ...эроса, расы, вируса". Семижды заклина — "не выходи из комнаты!" — Бродский, видимо, подсознательно притыкает к волшебной сказке с ее "запретами".

"Вид запрета — не выходить из дома, сидеть взаперти — один из древнейших и основных, — пишет В.Я. Пропп. — ...Нарушение запрета приводит, иногда молниеносно, к какой-либо беде, к какому-нибудь несчастью". Нарушение запрета — это так называемая "начальная беда", основной элемент завязки. Формы начальной, "завязочной" беды очень разнообразны; и среди них Пропп первым делом указывает "изгнание из дома". Так вот: семижды заклина себя — "Не выходи из комнаты!", с ее пространством, сделанным из коридора, заканчивающегося счетчиком, со стулом, туфлями, пальто (предостерегаемый "ты" в комнате надевает на голое тело пальто и на босые ноги — туфли; здесь практическая необходимость — замена халата и тапочек в любовном свидании в чужой комнате — уподобляется, с непереносимым оттенком самонасмешки, введению космоса внешнего внутрь космоса комнаты, одежда не требующего), прихожей, где "пахнет капустой и мазью лыжной", — поэт все-таки после "начальной беды" выходит в космос, где вечно и стремительно летит персидская стрела, "схожая позеленевшей бронзой / с пережившим похлебку листом лавровым", и где человек, летящий в "боинге" над Атлантикой, голый спиной прикасается к льдине. Мир сначала создан был "из смешенья грязи, воды, огня, воздуха", потом населен "комнатами, вещами", но бесстрастная жизнесмерть выкидывает человека ("прочь! убирайся! вон! с вещами!") — благодаря чему пространство смещается "в сторону времени, где не бывает тел". "Не бойся его: я там был!" — следом за Дантом Бродский свидетельствует о "счастье мертвых": без страха, ибо туда направляются, как его "Дедал в Сицилии", "крякнув" и "привязав к лодыжке / длинную нитку, чтобы не заблудиться".

Чем связаны вещь и весть, где грань перехода одной в другую? Чудо-варваро, рецепт которого, по Бродскому прост: "кожух овчара, / щепотка сегодня, крупница вчера, / и к пригоршне завтра добавь в глазок / огрызок пространства и неба кусок". А вместе с человеком с этого света исчезают и вещи, раз они настолько метафизичны: остается голый "мир без вещей", освещенный четырьмя поминательными свечами. Уходу из одомашненного тепла на топленного дома уподобляется Бродским небытие.

В наше время стихи оказались в сторонке — и не без пользы для себя: именно поэзия, заброшенная критиками и читателями, предоставленная сама себе, оставленная без надзора, но и без "сглазу", сегодня находится в плодотворном состоянии, впрочем, это уже тема другой статьи. Что же касается Бродского, то будем внимательны к завещанию поэта, побывавшего "там", где он обнаружил "логический конец человеческой мысли" ("Послесловие к "Котловану" А.Платонова"), и к нам вернувшегося, но неотступно и напряженно о смерти размышляющего: "Но землю, в которую тоже придется лечь, / тем более — одному, можно не целовать". Замечу напоследок, что это отнюдь не рекимем. Уходя, гасите свет? Нет, Бродский составляет — завещание, включив звезду.

со знаменитым голландским, но с кружевом мысли, здесь очевидно. Нельзя "оставить четкий след" — все воспоминания смываются катящейся волной, возвращаясь на круги своя. Этот круг поэт пытается разорвать — "в Голландии нельзя / подняться в горы, умереть от жажды", вертикаль преодоления, даже ценою гибели, невозможна; и Голландия, или Страна воспоминаний, бесконечна и в этой бесконечности безнадежна. Никакой плотной (в несостоявшемся "Пророчестве" — "отгородившись высоченной дамбой / от континента" / воспоминаний-волн не удержат).

Продолжается и развивается эта же тема в стихотворении "В окрестностях Атлантиды" — вода хоронит под собою, затопляет материк уходящей цивилизации, как бы ни "хоронился" от нее народ: "Все эти годы мимо текла река". Прежде — "наводнения", уподобленные "толпе", "заливали асфальт, / но возвращались вспять, / когда ветер стихал"; но теперь лишь "ослабь / цепочку — и в комнату хлынет рябь, / поглотившая оптом жильцов, жилищ / Атлантиды, решившей начаться с лиц". Да, именно так и происходит; и недаром Феликс Розинер и целая команда культурологов в момент погружения Атлантиды решила осуществить грандиозный проект десятилетней энциклопедии советской цивилизации.

Воспоминания — и память вообще — у Бродского живут на грани фолы и вроде бы "никакой плотной их не удержишь", но так утраченная вещь становится вестью о преодолении времени и пространства, — здесь уместно упомянуть мандельштамовское "Не бумажные дести, а вести спасают людей", или — "Весть летит светопыльной обновой". Мандельштам здесь возникает не случайно — всплывая в строке Бродского эхом: "шум Времени..." ("Архитектура"). С.Аверинцев сформулировал особость зрения Мандельштама как "ощущение рассеянного взгляда, смотрящего сквозь вещь", — но ведь не кто иной, как Мандельштам завещал: "Любите существование вещи больше самой вещи и свое бытие больше самих себя"; вот это смотрение "сквозь вещь" и любовь к "существованию вещи больше самой вещи" есть метафизика вещи, наследуемая от Мандельштама Бродским — сопредельно с пастернаковским "всесильным Богом деталей". Как бы они ни противоречили друг другу — Бродский это противоречие снима-

похожими стихотворениями". Стихи этого периода "напоминают розовые муляжи, изображенные на холстах стареющих экспрессионистов". Известно, что Н. Заболоцкий сверял свои натурфилософские воззрения с произведениями предтеч, в том числе с "Диалектикой природы" Энгельса. А. Пурино это не нравилось, и он отвергает "диалектизм (не то, диалектику, сударь. — Л. О., Н. З.), наукообразие, "философичность" поэзии Заболоцкого тридцатых годов". Автор предисловия изображает поэта так: "Это своего рода Хлебников, загримированный под Фридриха Энгельса". Невозможно показать читателю всю галерею каплятво А



Книга Арсения Тарковского, составленная его дочерью Мариной Тарковской, сочетает авторский канон с неизвестными читателю строками. Краткое почти полное к поэту предисловие написал Юрий Кублановский. Книга Николая Заболоцкого подготовлена Алексеем Пуриным (составление, предисловие, примечания). В предисловии есть несколько заслуживающих внимания частных замечаний. Но... сперва о фактических ошибках.

Уже на первой странице их три. Николай Алексеевич Заболоцкий родился на сельскохозяйственной ферме, где служил его отец, — в 7 км от Казани, а не в Кукмор, как указано в предисловии, — это в 250 километрах от Казани. А. Пурин повторяет ошибку Г. Филалова